### Молчание

### Альбер Камю

Перевод. Н. Наумова

Давно наступила зима, а над городом, уже пробудившимся от сна, вставал поистине лучезарный день. За молом голубизна моря сливалась с сияющей лазурью неба. Но Ивар не замечал этого. Он тащился на велосипеде вдоль бульваров, господствовавших над портом. Больную ногу он держал неподвижно на подножке, заменяющей педаль, а здоровой работал изо всех сил, одолевая мостовую, еще влажную от ночной сырости. Он ехал, не поднимая головы, скрючившись над рулем, по привычке старался держаться поодаль от трамвайных рельсов, хотя по ним уже не ходил трамвай, вильнув в сторону, уступал дорогу нагонявшим его машинам и время от времени откидывал локтем за спину съезжавшую сумку, в которую Фернанда положила ему завтрак. При этом он с горечью думал о содержимом сумки. Вместо его любимого омлета по-испански или бифштекса, жаренного на оливковом масле, между двумя ломтями хлеба был всего только кусок сыру.

Никогда еще путь до мастерской не казался ему таким долгим. Что поделаешь, он старел. В сорок лет, хоть ты еще не одряб и, как виноградная лоза, гнешься, да не ломаешься, мускулы уже не те. Иногда, читая спортивные отчеты, в которых тридцатилетнего спортсмена называли ветераном, он пожимал плечами. «Если это ветеран, — говорил он Фернанде, — то мне пора в богадельню». Однако он знал, что журналист не совсем не прав. В тридцать человек уже неприметно сдает. В сорок, конечно, еще не время уходить на покой, но к мысли об этом мало-помалу начинаешь загодя привыкать. Не потому ли он давно уже не смотрел на море, когда ехал на другой конец города, где находилась бочарня. Когда ему было двадцать лет, он не мог наглядеться на море: оно обещало ему счастливые часы на пляже в субботу и в воскресенье. Несмотря на свою хромоту, а может быть, именно из-за нее он всегда любил плавать. Но прошли годы, он женился на Фернанде, родился мальчонка, и, чтобы сводить концы с концами, пришлось по субботам оставаться на сверхурочные в бочарне, а по воскресеньям халтурить на стороне. Мало-помалу он отвык утолять в эти дни буйство крови. Глубокая и прозрачная вода, горячее солнце, девушки, жизнь тела — другого счастья не знали в их краю. А это счастье проходило вместе с молодостью. Ивар по-прежнему любил море, но только на исходе дня, когда вода в бухте слегка темнела. В этот час приятно было сидеть на террасе дома в свежей рубашке, которую Фернанда умела так хорошо погладить, перед запотевшим стаканом анисовки. Вечерело, небо перед закатом окрашивалось в нежные тона, и соседи, разговаривавшие с Иваром, почему-то вдруг понижали голос. В такие минуты Ивар не знал, то ли он счастлив, то ли ему хочется плакать. Во всяком случае, на него находило какое-то умиротворенное настроение, и ему оставалось только тихо ждать, он и сам не знал чего.

А вот утром, когда он ехал на работу, он не любил смотреть на море, которое всегда в назначенный час являлось на свидание с ним, но с которым ему тут же приходилось расставаться до вечера. В это утро он ехал, понурив голову, и ехать ему было еще тяжелее, чем обычно, потому что и на сердце было тяжело. Когда накануне вечером он вернулся с собрания и объявил, что они возобновляют работу, Фернанда обрадовалась и сказала: «Значит, хозяин дает вам прибавку?» Хозяин не давал никакой прибавки, забастовка провалилась. Они плохо действовали, приходилось это признать. Это была забастовка, рожденная вспышкой гнева, и профсоюз имел основания отнестись к ней прохладно. К тому же полтора десятка рабочих — не бог весть что; профсоюз считался с другими бочарнями, которые их не поддержали. А на них тоже нельзя было слишком обижаться. Бочарное дело, которому создавало угрозу строительство наливных судов и производство автоцистерн, не очень-то процветало. Делали все меньше и меньше бочонков и бочек и главным образом чинили уже имеющиеся большие чаны. Дела у хозяев шли неважно, это верно, но они хотели все же сохранить свои прибыли; проще всего им казалось заморозить заработную плату, несмотря на рост цен. Как быть бочарам, когда исчезает бочарный промысел? Профессию не меняют, если приобрести ее было не так-то просто. А это была трудная профессия, она требовала долгого обучения. Редко встречается хороший бочар, который пригоняет изогнутые клепки, крепит их на огне и стягивает железными обручами почти герметически, не пользуясь ни рафией, ни паклей. Ивар это знал и гордился этим. Переменить профессию ничего не стоит, но отказаться от того, что умеешь, от своего собственного мастерства — это нелегко. Хорошая профессия не имела применения, податься было некуда, приходилось смириться. Но и смириться было нелегко. Это значило придерживать язык, не имея возможности по-настоящему спорить, и каждое утро, отправляясь на работу, чувствовать, как накапливается усталость, а в конце недели получать то, что вам изволят дать, то есть гроши, которых не хватает на жизнь, потому что изо дня в день все дорожает.

И вот они обозлились. Поначалу двое или трое колебались, но и их взяла злость после первых переговоров с хозяином. Он сухо сказал, что торговаться не намерен, кому не нравится, может уходить. Разве это человеческий разговор? «Что он воображает! — сказал Эспосито. — Уж не думает ли он, что мы наделаем в штаны?» Вообще говоря, хозяин был неплохой малый. Мастерская перешла к нему от отца, он вырос в ней и знал с давних лет почти каждого рабочего. Иногда он приглашал их закусить в бочарне; они жарили сардины или кровяную колбасу, подбрасывая в огонь щепки и стружки, и, сидя с ними за стаканом вина, он был, что называется, душа-человек. На Новый год он всегда давал каждому рабочему по пять бутылок доброго старого вина и часто, когда кто-нибудь из них заболевал или просто по случаю какого-нибудь события, например, свадьбы или первого причастия, делал им денежные подарки. Когда у него родилась дочь, он всех оделил конфетами. Два или три раза приглашал Ивара поохотиться в свое поместье на побережье. Он и в самом деле любил своих рабочих и частенько напоминал, что его отец выбился в люди из подмастерьев. Но он никогда не бывал у них, ему это и в голову не приходило. Он думал только о себе, потому что знал только свое положение, и вот теперь заявлял, что не намерен торговаться. Иначе говоря, он в свою очередь заартачился. Но он-то мог себе это позволить.

Они добились согласия от профсоюза и объявили забастовку. «Не трудитесь расставлять стачечные пикеты, — сказал хозяин. — Когда мастерская не работает, я только выгадываю». Это была неправда, но это подлило масла в огонь, потому что тем самым он им в лицо говорил, что дает им работу из милости. Эспосито пришел в бешенство и сказал ему, что он не похож на человека. Тот вскипел, и их пришлось разнимать. Однако решительность хозяина произвела впечатление на рабочих. Двадцать дней продолжалась забастовка, дома печальные женщины ждали, когда она кончится, два или три товарища упали духом, а под конец профсоюз посоветовал им уступить, удовлетворившись обещанием арбитража и возмещения потерянных рабочих дней сверхурочными часами. Они решили возобновить работу. Конечно, хорохорясь, мол, это еще не конец, еще посмотрим, чья возьмет. Но в это утро Ивар физически ощущал тяжесть поражения, в сумке был сыр вместо мяса, и строить себе иллюзии было невозможно. Пусть море сверкало на солнце, оно ему уже ничего не обещало. Он нажимал на единственную педаль своего велосипеда, и ему казалось, что он стареет с каждым поворотом колеса. При мысли о мастерской, о товарищах и о хозяине, которого он снова увидит, на сердце у него становилось все тяжелее. Фернанда спросила: «Что же вы ему скажете?» «Ничего, будем работать», — ответил Ивар, перекинув ногу через раму велосипеда, и покачал головой. Он сжал зубы, и его тонкое смуглое лицо, изрезанное морщинами, стало непроницаемым. Так он и ехал, сжав зубы, во власти бессильной, иссушающей злобы, омрачавшей в его глазах даже само небо.

Он оставил позади бульвар и море и поехал по сырым улицам старого испанского квартала. Они выходили на незастроенный участок, занятый только сараями, свалками железного лома и гаражами, среди которых возвышалась мастерская — своего рода барак, до середины каменный и застекленный до самой крыши из гофрированного железа. Мастерская примыкала к старой бочарне — двору с навесами вдоль стен, который был заброшен, когда предприятие разрослось, и теперь превратился в склад для отслуживших свое машин и старых бочек. За двором, отделенный от него галереей, крытой потрескавшейся черепицей, начинался хозяйский сад, в глубине которого возвышался дом. Большой и уродливый, он тем не менее имел приветливый вид благодаря крыльцу, увитому диким виноградом и жимолостью.

Ивар сразу увидел, что двери мастерской закрыты. Перед ними молча толпились рабочие. Впервые с тех пор, как он работал здесь, он, приехав, нашел двери на запоре. Видно, хозяин хотел этим подчеркнуть, что он взял верх. Ивар подъехал к навесу, пристроенному к бараку с левой стороны, поставил велосипед и направился к двери. Он издали узнал Эспосито, рослого молодца, смуглого и волосатого, который работал рядом с ним, Марку, профсоюзного уполномоченного, у которого всегда было мечтательно-томное выражение лица, как у модного тенора, Саида, единственного алжирца в мастерской, а потом и других, молча поджидавших его. Но прежде чем он к ним подошел, они вдруг повернулись к дверям мастерской, которые в эту минуту приоткрылись. В проеме показался Баллестер, мастер. Он потянул на себя одну из тяжелых створок и, повернувшись спиной к рабочим, стал медленно толкать ее по вделанному в пол рельсу.

Баллестер, самый старший из них, выступал против забастовки, но умолк, когда Эспосито сказал ему, что он служит интересам хозяина. Теперь он стоял возле двери, коренастый и приземистый, в своей голубой фуфайке, уже босиком (только Саид да он работали босые), и смотрел на них своими светлыми глазами, до того светлыми, что они казались бесцветными на его старом, выдубленном лице с горько искривленным ртом под густыми обвисшими усами. Они молчали, униженные тем, что входили, как побежденные, в ярости от своего собственного молчания, которое им тем труднее было прервать, чем больше оно продолжалось. Они проходили, не глядя на Баллестера; они знали, что, пропуская их по одному, он лишь выполняет распоряжение хозяина, и по его обиженному и грустному виду догадывались, что он думает. Но Ивар посмотрел на него. Баллестер, который любил Ивара, ни слова не говоря, покачал головой.

Теперь они были все в маленькой раздевалке справа от входа, разделенной на кабины без дверец, похожие на стойла, дощатыми перегородками с привешенными к ним шкафчиками, которые запирались на ключ; в последнем от входа стойле, в углу барака, был установлен душ, а под ним в земляном полу вырыта сточная канавка. Посреди барака белели собранные бочки с еще свободными обручами, которые обожмут над огнем, стояли тяжелые скамьи с длинной прорезью, из которой кое-где торчали круглые днища, ждавшие обточки фуганком, и почерневшие горны. Вдоль стены слева от входа тянулись верстаки, а перед ними были навалены груды необструганных клепок. У правой стены, неподалеку от раздевалки, блестели, затаив свою силу, две большие, хорошо смазанные электропилы.

Барак давно уже стал слишком большим для горстки людей, которые в нем работали. В жару это было хорошо, в зимние холода — плохо. Но сегодня в этом просторном помещении было как-то особенно неприютно: остановившаяся работа, брошенные по углам бочки с единственным обручем, соединявшим нижние концы клепок, которые вверху расходились, как топорные лепестки деревянного цветка, опилки, покрывавшие станки, ящики с инструментами и машины — все придавало мастерской запущенный вид. Рабочие, переодевшиеся в старые фуфайки и вылинявшие, заплатанные штаны, замешкавшись, озирались вокруг, а Баллестер выжидательно смотрел на них. «Ну что же, начнем?» — сказал он наконец. Они молча разошлись по своим местам. Баллестер переходил от одного к другому, в нескольких словах напоминая каждому, какую работу начинать или доканчивать. Никто ему не отвечал. Скоро первый молоток застучал по зубилу, набивая обруч на утолщенную часть бочки, скрипнул фуганок по сучку, и, вгрызаясь в дерево, завизжала электропила, которую включил Эспосито. Саид подносил клепки или разжигал костер из стружек, над которым держали бочки, пока они не разбухали в своем железном корсете. Когда его никто не звал, он клепал на верстаке большие ржавые обручи. По бараку начал распространяться запах горящих стружек. Ивар, который обстругивал и подгонял клепки, нарезанные Эспосито, узнал этот привычный запах, и у него слегка отлегло от сердца. Все работали молча, но в мастерской мало-помалу возрождалась жизнь, рассеивалась атмосфера запустения. Барак наполнял яркий свет, вливавшийся сквозь огромные стекла. В золотистом воздухе синели дымки. Ивар даже услышал возле себя жужжание какого-то насекомого.

В эту минуту в задней стене барака открылась дверь, выходившая в старую бочарню, и на пороге показался хозяин, господин Лассаль. Это был худощавый брюнет лет тридцати с небольшим, в бежевом габардиновом костюме и белой рубашке под распахнутым пиджаком. Несмотря на то что лицо у него было костистое, узкое, с острыми чертами, он обыкновенно внушал симпатию, как большинство людей, которые благодаря спорту держатся свободно и раскованно. Однако на этот раз вид у него был слегка смущенный, и поздоровался он не так громко, как обычно; во всяком случае, ему никто не ответил. Молотки на мгновение застучали тише, вразлад, потом загрохотали с новой силой. Господин Лассаль сделал несколько нерешительных шагов и направился к Валери, пареньку, который работал с ними всего только год. Он неподалеку от Ивара, возле электропилы, прилаживал днище к бочке, и хозяин стал наблюдать за ним. Валери продолжал молча работать. «Ну, как дела, сынок?» — сказал господин Лассаль. Движения юноши вдруг стали неловкими. Он бросил взгляд на Эспосито, который рядом с ним собирал в огромную охапку клепки, чтобы отнести их Ивару. Эспосито, продолжая заниматься своим делом, в свою очередь посмотрел на Валери, и тот снова уткнул нос в бочку, ничего не ответив хозяину. Лассаль, слегка озадаченный, с минуту постоял возле юноши, потом пожал плечами и повернулся к Марку, который, сидя верхом на скамье, неторопливыми, точными движениями обтачивал по окружности днище. «Добрый день, Марку», — сказал Лассаль теперь уже сухим тоном. Марку не ответил, всем своим видом показывая, что заботится только о том, чтобы снимать как можно более тонкие стружки, и ни на что другое не обращает внимания. «Что на вас нашло? — громко сказал Лассаль, обращаясь на этот раз к остальным рабочим. — Верно, мы не поладили. Но тем не менее нам надо работать вместе. Так к чему же все это?» Марку встал, поднял днище, провел ладонью по его окружности, прищурил свои томные глаза с видом полнейшего удовлетворения и, по-прежнему сохраняя молчание, направился к другому рабочему, который собирал бочку. Во всей мастерской слышен был только стук молотков да визг электропилы. «Ну ладно, когда у вас это пройдет, дадите мне знать через Баллестера», — сказал господин Лассаль и спокойным шагом вышел из мастерской.

Почти сразу после этого, перекрывая оглушительный шум, дважды прозвенел звонок. Баллестер, только что присевший покурить, тяжело поднялся и пошел к задней двери. После его ухода молотки застучали тише, а один из рабочих даже остановился, но тут Баллестер вернулся. Войдя, он сказал только: «Марку и Ивар, вас просит хозяин». Ивар направился было помыть руки, но Марку на ходу схватил его за локоть, и он, прихрамывая, последовал за ним.

На дворе свет был такой яркий, такой насыщенный, что Ивар ощущал его, как жидкость, на лице и на обнаженных руках. Они поднялись по ступенькам крыльца под жимолостью, на которой кое-где уже показались цветы. Когда они вошли в коридор, стены которого были увешаны дипломами, они услышали детский плач и голос господина Лассаля, который говорил: «После завтрака уложи ее в постель. Если это не пройдет, позовем доктора». Потом хозяин вышел в коридор и провел их в уже знакомый им маленький кабинет, обставленный в так называемом сельском вкусе, где на стенах красовались охотничьи трофеи. «Садитесь», — сказал господин Лассаль и сел за свой письменный стол. Они продолжали стоять. «Я пригласил вас потому, что вы, Марку, профсоюзный уполномоченный, а ты, Ивар, — мой старейший служащий после Баллестера. Я не хочу снова вступать в спор, на котором теперь поставлена точка. Я не могу, решительно не могу дать вам то, что вы просите. Вопрос исчерпан, мы пришли к заключению, что нужно возобновить работу. Я вижу, что вы на меня обижаетесь, и, скажу откровенно, мне это тяжело. Я хочу только добавить следующее: то, что я не могу сделать сегодня, я, быть может, смогу сделать, когда дела поправятся. И если я смогу, я это сделаю, не дожидаясь, чтобы вы меня об этом попросили. А пока попытаемся дружно работать». Он помолчал, как бы размышляя, потом поднял на них глаза и спросил: «Ну как?» Марку смотрел в окно. Ивар, который слушал хозяина, сжав зубы, хотел заговорить, но не смог. «Послушайте, — произнес Лассаль, — вы все залезли в бутылку. Это пройдет. Но когда вы снова будете в состоянии спокойно рассуждать, не забудьте то, что я вам сейчас сказал». Он встал, подошел к Марку и протянул ему руку, бросив: «Чао!» Марку побледнел, его мечтательное лицо отвердело и в одно мгновение стало злым. Он повернулся на каблуках и вышел. Лассаль, тоже побледневший, посмотрел на Ивара, не протягивая ему руки, и крикнул: «Ну и катитесь!»

Когда они вернулись в мастерскую, рабочие завтракали. Баллестер куда-то вышел. Марку сказал только: «Пустые слова», — и направился на свое рабочее место. Эспосито, жевавший ломоть хлеба, спросил, что они ответили. Ивар сказал, что они ничего не ответили. Потом он сходил за своей сумкой и сел на скамью, где работал. Он начал было есть, как вдруг заметил, что Саид лежит неподалеку от него на куче стружек, устремив взгляд на стекла, за которыми синело небо, теперь уже не такое солнечное. Ивар спросил у него, позавтракал ли он. Саид сказал, что съел свои фиги. Ивар перестал есть. Тягостное чувство, не оставлявшее его с той минуты, как он вышел от Лассаля, внезапно пропало, уступив место теплому участию. Он встал и, разломив свой сандвич, протянул половину Саиду. Тот отказывался, но Ивар ободрил его, сказав, что на следующей неделе все пойдет на лад, и добавив: «Тогда ты меня угостишь». Саид улыбнулся и, взяв кусок сандвича, принялся за него — не спеша, деликатно, как человек, который не голоден.

Эспосито разжег костерок из стружек и щепок и, достав старую кастрюлю, разогрел в ней кофе, который принес из дому в бутылке. Он сказал, что этот кофе подарил мастерской лавочник с его улицы, когда узнал, что забастовка потерпела провал. Заменявшая стакан банка из-под горчицы переходила из рук в руки. Эспосито каждому наливал кофе, в который уже был положен сахар. Саид проглотил свою порцию куда охотнее, чем ел. Эспосито выпил остаток кофе прямо из кастрюли, обжигая губы, причмокивая и ругаясь. Тут вошел Баллестер и объявил конец перерыва.

Когда они поднимались и убирали в сумки бумагу и посуду, Баллестер стал среди них и вдруг сказал, что им всем туго пришлось, и ему тоже, но это еще не причина, чтобы вести себя как дети, и ни к чему дуться, этим дела не поправишь. Эспосито с кастрюлей в руке повернулся к нему, и его толстое лицо побагровело. Ивар знал, что он скажет и что все думали вместе с ним: что они не дулись, что им заткнули рот — кому не нравится, может уходить — и что от бессильного гнева подчас бывает так тяжело, что не можешь даже кричать. Они были живые люди, вот и все, и им было не до улыбок и ужимок. Но Эспосито ничего этого не сказал, его нахмуренное лицо наконец разгладилось, и он легонько похлопал Баллестера по плечу, а остальные тем временем разошлись по своим местам. Снова застучали молотки, и просторный барак наполнился привычным грохотом, запахом стружек и пропотевшей одежды. Жужжала электропила, вгрызаясь в свежую доску, которую Эспосито медленно толкал вперед. Из-под зубцов летели влажные опилки, покрывая, как панировкой, здоровые волосатые руки, крепко державшие доску с обеих сторон лезвия. Когда Эспосито отрезал клепку, жужжание затихало и слышен был только шум мотора.

Ивар, склонившийся над фуганком, уже чувствовал ломоту в спине. Обычно усталость приходила позже. За те три недели, что они бастовали, он потерял навык. Но он думал также о том, что с возрастом ручной труд становится тяжелее, если он требует не только хорошего глазомера и точности. Помимо всего прочего, эта ломота предвещала старость. Там, где главное мускулы, труд в конце концов становится проклятьем. Он предшествует смерти, и недаром, когда за день как следует наломаешь спину, вечером засыпаешь мертвым сном. Его парнишка хотел быть учителем, и он был прав: те, кто разглагольствуют о прелестях физического труда, не знают, о чем говорят.

Когда Ивар выпрямился, чтобы перевести дух, а заодно стряхнуть черные мысли, снова раздался звонок. Он звучал настойчиво и до того странно — с короткими перерывами и властными повторами, — что рабочие остановились. Баллестер с минуту удивленно прислушивался, потом медленно направился к двери. Только через несколько секунд после его ухода звонок наконец умолк. Они опять принялись за работу. Дверь снова распахнулась, и Баллестер побежал к раздевалке. Он вышел из нее в матерчатых туфлях, натягивая куртку, на ходу бросил Ивару: «Маленькой плохо. Я пошел за Жерменом», — и побежал к входной двери. Доктор Жермен обслуживал мастерскую; он жил в том же предместье. Ивар повторил товарищам то, что сообщил ему Баллестер, ничего не добавив от себя. Они толпились вокруг него, в замешательстве глядя друг на друга. Слышно было только, как вхолостую работает мотор электропилы. «Может, ничего страшного», — сказал один из них. Они вернулись на свои места, и мастерская опять наполнилась шумом, но работали они мешкотно, как будто чего-то ждали.

Спустя четверть часа Баллестер вернулся, снял куртку и, ни слова не говоря, вышел через заднюю дверь. Свет в окнах тускнел. Немного погодя, в промежутки относительной тишины, когда пила не вгрызалась в дерево, стал слышен гудок санитарной машины, сначала приглушенный, отдаленный, потом уже близкий. И вот он умолк: машина подъехала. Через некоторое время Баллестер вернулся, и все обступили его. Эспосито выключил мотор. Баллестер сказал, что, раздеваясь в своей комнате, девочка вдруг упала как подкошенная. «Вот так штука!» — проронил Марку. Баллестер покачал головой и сделал неопределенный жест, наверное, означавший, что тем не менее работа не ждет; но вид у него был расстроенный. Снова послышался гудок санитарной машины. В притихшей мастерской рабочие в своих старых фуфайках и обсыпанных опилками штанах стояли под потоками желтого света, лившегося сквозь стекла, беспомощно опустив загрубелые руки.

Остаток дня тянулся медленно. Ивар чувствовал теперь только усталость и все ту же тяжесть на сердце. Он хотел бы поговорить. Но ему нечего было сказать, и другим тоже. На их замкнутых лицах можно было прочесть лишь печаль и какое-то упорство. Иногда на язык ему приходило слово «несчастье», но пропадало, едва сложившись, как лопается пузырек на воде, не успев возникнуть. Ему хотелось домой, к Фернанде, к мальчику, да и к своей террасе. Но вот Баллестер объявил конец работы. Машины остановились. Рабочие начали не спеша гасить горны и прибирать на своих рабочих местах, потом один за другим направились в раздевалку. Только Саид задержался — он должен был подмести и побрызгать водой пыльный земляной пол. Когда Ивар пришел в раздевалку, Эспосито, огромный и волосатый, уже стоял под душем и шумно намыливался, повернувшись спиной к товарищам. Обычно они подшучивали над его стыдливостью: этот медведь упорно прятал свой перед. Но теперь никто не обратил на это внимания. Эспосито, пятясь, вышел из кабины и, взяв полотенце, сделал себе из него нечто вроде набедренной повязки. За ним стали по очереди мыться остальные, и Марку с силой шлепал себя по голым бокам, когда, скрипя колесиком по желобу, медленно открылась главная дверь. Вошел Лассаль.

Он был одет так же, как утром, только волосы у него были слегка взъерошены. Он остановился на пороге, окинул взглядом опустевшую мастерскую, сделал несколько шагов, опять остановился и посмотрел в сторону раздевалки. Эспосито, все еще в своей набедренной повязке, повернулся к нему. С минуту он смущенно переминался с ноги на ногу. Ивар подумал, что Марку должен сказать что-нибудь. Но Марку оставался за завесой струившейся на него воды. Эспосито схватил рубашку, проворно надел ее, и в эту минуту Лассаль слегка приглушенным голосом сказал: «Всего хорошего», — и направился к задней двери. Когда Ивар подумал, что надо его окликнуть, дверь уже закрылась за ним.

Ивар оделся, не помывшись, тоже сказал «всего хорошего», но от всего сердца, и товарищи ответили ему так же тепло. Он быстро вышел, взял свой велосипед и, когда сел на него, снова почувствовал ломоту в спине. Близился вечер, и город теперь был запружен людьми и машинами. Но он ехал быстро, торопясь добраться до своего старого дома с террасой. Там он помоется в прачечной, а потом сядет полюбоваться на море, которое уже провожало его, — он видел поверх парапета его синеву, более густую, чем утром. Но и мысль о девочке провожала его, он не мог не думать о ней.

Дома мальчик, вернувшись из школы, читал иллюстрированные журналы. Фернанда спросила Ивара, как все обошлось. Он ничего не ответил, помылся в прачечной, потом вышел на террасу и сел на скамейку лицом к морю под развешанным для просушки чиненым-перечиненым бельем. Море было по-вечернему тихое, а небо над ним становилось прозрачным. Фернанда принесла анисовку, два стакана и кувшин с холодной водой. Она села возле мужа. Он ей все рассказал, держа ее за руку, как бывало в первое время после их свадьбы. Кончив, он долго сидел неподвижно, устремив взгляд на море, где на всем горизонте, от края до края, быстро надвигались сумерки. «Он сам виноват!» — проронил Ивар. Ему хотелось бы быть молодым и чтобы Фернанда тоже была еще молодой и они бы уехали куда-нибудь далеко, за море.